ПУШКИНСКАЯ БИБЛИОТЕКА

И.А. Новиков

ПУШКИН НА ЮГЕ

Иван Алексеевич Новиков

Пушкин на юге

Серия «Пушкинская библиотека»

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=36084907
Пушкин на юге / И. А. Новиков: Вече; Москва; 2018
ISBN 978-5-4484-7270-1

Аннотация

Дилогия известного советского писателя И.А. Новикова (1877–1959) «Пушкин в изгнании», состоящая из двух романов «Пушкин на юге» и «Пушкин в Михайловском», посвящена двум периодам в жизни поэта – южной и псковской ссылкам. Два этих произведения по праву считаются одними из самых известных в российской пушкинистике. В настоящем издании представлен роман «Пушкин на юге» – первая часть дилогии И.А. Новикова. Он повествует о южной ссылке поэта. Причины южной ссылки Пушкина были весьма тривиальны: выпуск «в свет» нескольких едких эпиграмм на власть предержащих самого высокого уровня. География поездок Пушкина в 1820–1824 годы была весьма обширной и включала в себя юг Малороссии, Крым, Бессарабию. Биография поэта того времени наполнена яркими событиями: тут и поездки поэта по Крыму, и прелести армейской жизни в Кишиневе, и богатая событиями и интригами, почти столичная, жизнь в Одессе. В творчестве Пушкина период южной

ссылки назван романтическим. Романтизм поэта не был навязан модными веяниями западной литературы, он являлся отражением того времени и тех событий, которые имели место на его родине.

Содержание

Глава первая 5
Глава вторая 44
Конец ознакомительного фрагмента. 66

Иван Новиков
Пушкин на юге

Посвящается
Ольге Максимилиановне Новиковой

Глава первая
Степи

Была всего лишь середина мая, но стоял такой зной, какого в Петербурге не бывало и в самое жаркое лето.

Город Екатеринослав, задуманный Потемкиным как столица Новороссии, – пятьдесят верст в окружности и с улицами в тридцать сажен ширины, – так и не был постройкою завершен. На горе самою императрицей Екатериной был заложен огромный собор – ныне работы оставлены; пышный дворец, вознесенный над городом, откуда видны все изгибы Днепра на семьдесят и более верст, вот-вот развалится; сад при дворце, сбегающий к самой реке, обширен, тенист, с вековыми дубами, но сильно запущен, зарос буйным кустарником; козы, скрываясь от зноя, любят щипать в заросших аллеях молодые побеги, листву; на редких полянках можно увидеть порою и проскочившего зайца; к дворцу и собору идет несколько чистеньких улиц: немного каменных зданий

с садами в цвету; церкви и синагоги. Это был собственно город, на окраинах же и в слободах – еврейские лачуги, раскиданные в причудливом беспорядке.

В одну из таких убогих хат Пушкин и перебрался из единственной грязноватой гостиницы города, где остановился тотчас по приезде.

Генерал Инзов, главный попечитель о поселенцах Южной России, среди своих многих и хлопотливых занятий был озабочен также и подысканием помещения для нового своего чиновника, хотя сам вновь прибывший отнюдь с этим делом не торопился и поджидал приезда семейства Раевских, которые должны были следовать в Крым кружным путем – через Кавказ: с Раевскими у Пушкина связаны были свои особые надежды.

Недаром еще из Петербурга в двадцатых числах апреля писал он в Москву старшему своему приятелю, князю Петру Андреевичу Вяземскому: «Петербург душен для поэта, я жажду краев чужих; авось полуденный воздух оживит мою душу». Он писал черновик этого письма, когда до него как раз дошла радостная весточка о возможной поездке вместе с Раевскими: друг его, младший Раевский, сам это выдумал и брал на себя все устроить. С оживленным надеждою сердцем сел Пушкин за переписку письма и не удержался, чтобы не добавить хотя бы намеком о каких-то благоприятных возможностях в запутанных своих делах, еще недавно грозивших ему то ли Сибирью, то ли Соловками.

Дочь генерала Раевского, Екатерина Николаевна, с которою Пушкин был уже немного знаком, написала своим даже письмо, чтобы изгнанник имел повод заехать к ее отцу непосредственно в Киев. Пушкину очень хотелось осуществить эту доставку письма «с оказией»: древняя столица Руси на Днепре, которую только что воспел он в «Руслане», манила его к себе, и ему казалось порою, что он

Уж видит златоверхий град…

Но пришлось собраться и выехать почти что внезапно: так было приказано свыше.

В Екатеринослав привез он другое письмо – официальное послание к генералу Инзову. Оно было подписано министром иностранных дел Нессельроде и утверждено самим императором Александром. Пушкину не было известно его содержание, но он знал, что писал его граф Каподистрия, хороший знакомый Жуковского и Карамзина: уже одно это было для него добрым знаком. Впрочем, этот вельможный грек и к самому молодому поэту был расположен.

Тем не менее Пушкин внимательно и с большим интересом приглядывался к фигуре будущего своего начальника, о котором был наслышан еще в Петербурге. Про Инзова шла молва, будто бы он был побочным сыном императора Павла. Самую фамилию его толковали как иносказание: Инзов, то есть инако зовут. Многие находили, что он очень и похо-

дил на предполагаемого своего отца; по первому впечатлению это можно было принять за правду.

Генерал принял его стоя. Мундир на нем от жары был распахнут, и из-под официального одеяния выглядывало нечто очень домашнее: рубашка помята, помочи с одной стороны прикреплены ненадежно – единственная пуговица на далеко оттянутой нитке еле держалась. Но вся осанка при этом была хоть и не слишком военная, однако же по-своему крепкая, прочная. Он невелик был ростом, но все же возвышался над Пушкиным крупной своей головою, задуманной для человека гораздо более высокого и как бы случайно попавшей на другого, пониже. Половина лица была освещена падавшим из-за шторы ярким солнечным светом, другая пребывала в тени. И та, что на солнце, была покрыта жарким ранним загаром и бронзовела, возбуждая воспоминания о бюстах старых полководцев. Это было лицо, как бы еще не вполне довершенное скульптором, хранящее следы его пальцев, неровности – впадины и бугорки, и все же, пожалуй, что да: сын императора и сам генерал.

Другая же половина лица – та, что в тени, – являла собою отнюдь не сановника: это был простой, не молодой уже человек, Иван Никитич по имени – хорошо завершенный добряк, простодушный философ. И самые шероховатости эти уже не наводили на мысли о скульптуре, скорее всего, напоминали они сельский пейзаж с долинками, горками, со свежей щетиной покоса: привычный пейзаж, сотворенный самою при-

родой, гармонично и полно отразившийся и воплощенный в рядовом русском лице; и по этому лицу морщины мягко текли, как ручьи; и никакого императора Павла.

Так, может быть, и остался бы весь этот характер скрытым в тени для всякого другого молодого человека, попавшего в положение Пушкина и ослепленного солнцем и генеральским мундиром, но для него, напротив того, он открывался с каждой минутой все с большею полнотой, по мере того как Инзов внимательно и очень неспешно читал про себя деловое это письмо.

Порою губы его шевелились, и он бормотал про себя: «… одно лишь страстное стремление к независимости… сделать из него прекрасного слугу государства…» Тут он метнул коротенький взгляд на стоявшего перед ним молодого человека, и легкая усмешка тронула его губы: «Что ж вы не сядете?» А сам продолжал стоять. «Или, по крайней мере, первоклассного писателя… По крайней мере! Гм… гм… как все это просто!..»

– Садитесь же… Я вас прошу! – повторил он, кончив читать и небрежным движением кинув бумагу на стол.

Но вместо того, чтобы сесть и самому, он приблизился к Пушкину и положил свою небольшую, но довольно широкую руку ему на плечо. Рука была жаркая, добрая.

Так он помедлил минуту, но не только не обнял или хотя бы чуть-чуть к себе потянул, чего вслед за этим движением естественно было бы ждать, а, напротив того, совсем неожи-

данно погнул его от себя и посадил в невысокое деревянное кресло. А тотчас сел и сам. Голубые глаза его не были строги, но и не смеялись, в них была одна только задумчивость: может быть, вспомнил себя самого – молодого, двадцатилетнего…

Таким был этот совсем необычный генеральский прием, и разговор принял сразу домашний характер.

– Я чаю, и в Петербурге жара, – говорил Иван Никитич через минуту, откинувшись в кресле и свободно вытянув ноги; Пушкин при этом заметил, что носки его сапог были с рыжинкой.

Он отвечал, и завязалась беседа, как если бы знали друг друга давно, как если бы не было отдаляющей разницы лет.

Итак, Петербург был теперь далеко позади. Новая жизнь начиналась. Формально все это походило на простой перевод по службе – из столицы в провинцию; по существу же – изгнание, ссылка. Пушкин в этом себе отдавал полный отчет.

Он был рад, что большая поэма его, «Руслан и Людмила», была завершена; вряд ли бы он ее теперь дописал. Он обещал, уезжая, Карамзину, что пришлет еще эпилог и что два года не будет писать ничего противу правительства. Неохотно, формально давал он это последнее обязательство. Но все-таки дал… Так что же писать?

В том самом письме Петру Андреевичу Вяземскому, где он говорил о жажде «краев чужих», он с ним поделился и

таким замечанием: «Что ни говори, век наш не век поэтов». Но ежели не писать, так что ж тогда делать?

Этим вопросом были полны молодые раздумья невольного нашего путника, временно, как он надеялся, застрявшего здесь, в Екатеринославе. Вот путешествие: колеса катились, стлалась под ними земля; просторы сменялись просторами; солнце и звезды; встречные ветры плескались в лицо; и все это – Россия, родная страна. Молодость, кроме простой радости жизни, вольных душевных движений, поступков, – она же и время раздумья: о мире и о себе, о месте своем в этой жизни, об истинном ее назначении. Новый начальник молодого своего подчиненного службою не обременял, и, предоставленный самому себе, Пушкин все это переживал с особою силой.

Город, в который теперь он попал, не мешал ему в этом: больше он походил на деревню, и молодой человек охотно бродил по лесам, заходившим за самую городскую черту в неровные улицы окраин. Вековые деревья с ветвистыми кронами жили в дружбе с могучей рекой, по которой шли караваны барок, плотов. Он и сам любил покататься на лодке, купался и отдыхал потом на прибрежном песке.

Днепр был хорош – полудремный, зеркальный – и с вершины холмов: в опушке могучего бора по нагорному берегу и в оторочке зеленых, далеко убегавших низин. Мягкий ветер оттуда доносил с собою горячее дыхание степи; как цветущее море, млела она, чуть дымясь, под облаками и солн-

цем.

Пушкин стоял на вершине, как бы озирая предстоящую ему жизнь. Каждый цветок там, вдали, благоухал – полно, по-своему, но сюда доносилось лишь общее дуновение степи. Так и в душе его смешаны были воедино разные чувства – тревога и любопытство, грусть и освобождение, ощущение покоя и жажда неизведанных впечатлений. И внезапно все это разрешалось движением: он срывался с места и бежал по откосу, путаясь ногами в горячей траве…

Но не только природа – и самая жизнь в это его путешествие вольно и широко дышала в лицо: встречные люди, разная повадка их, говор, веселье и слезы, забота и раздражение, труд, нищета, гордый характер, заунывная песня – дыхание истории… Впечатления грудились одно на другое, как облака перед грозой. И, как перед грозою, было томление, не находившее себе разрешения.

Еще в самом начале пути, хоть и краешком глаза, довелось ему заглянуть в казарменный быт аракчеевских вотчин с их тупою и рабской размеренностью каждого шага, оцепенением по ранжиру и мыслями по команде. Пушкин и сам едва-едва выбрался из цепких аракчеевских лап: «Всей России притеснитель!..»

Но по лицу русской земли пробегали порою и стихийные судороги. Приближаясь к Екатеринославу, он слышал не раз о крестьянских волнениях и в самых окрестностях города. Передавали, что до пятидесяти деревень бунтовали против

своих помещиков, среди которых поминались и такие фамилии, как Раевский и Пушкин. Пусть это были только однофамильцы, но и все же сами события от этого как бы приближались и интерес к ним еще обострялся. Таково было это, рядом с дыханием степи, столь же горячее дыхание жизни.

А город, где недавно совсем проходили войска, направлявшиеся на усмирение крестьянских бунтов – пехотные части, казаки, – крепко-накрепко это забыл или… как бы забыл. Когда бы об этом не знать, то ни за что бы и не догадаться. Улицы были сонны, пустынны. Они оживали только в базарные дни, когда, невзирая на все треволнения, сюда наезжал деревенский люд и площади заливались терпкими запахами навоза и дегтя, овечьей шерсти. Телеги и фуры, волы, просторные помещичьи брички и одинокие всадники, певучая украинская речь, широкополые поповские шляпы, женский пестрый узор – все это столь не похоже на Петербург: Невский, Нева, салоны и ресторации! И Пушкин любил потолкаться между возами, прислушаться к говору, песне…

То место, где он поселился, носило название Цыганский Кут. Несколько еврейских домишек было разбросано по оврагам, поблизости от корчмы, стоявшей на пыльной проезжей дороге. Тут же неподалеку, на вытоптанном людьми и конями поле, раскиданы были палатки цыган. Пушкин заглядывал и в их кочевые шатры. Это бродячее племя еще более говорило его воображению, когда по вечерам зажигались в синеющих сумерках огни их костров и явственно до-

носились гортанное пение, музыка – то заунывная, то разудалая, плясовая.

Вечерами не зажигал он огня. Верный Никита, сопровождавший его в путешествии, быстро обрел деревенские свои привычки и ложился спать, едва наступали сумерки. Старик и старуха, евреи-хозяева, подобно цыганам, также питались на воздухе, но у них в землю вкопана была небольшая, обмазанная глиною печка. Речь их была смесью еврейского с украинским и русским. Старуха, недовольная нуждою и нищетой, громко обычно брюзжала, перебирая достатки соседей. Старик был иным: он хранил всю задумчивую важность своих праотцев, которые пасли когда-то стада по палестинским нагорьям, а ночью следили с молчаливою думой движение звезд. Ровно, спокойно и неторопливо он наставлял пожилую голубицу свою, толкуя ей о тщете призрачных благ, о суете всех сует. Каждый из них оставался верен себе, и каждый вечерний их разговор повторял собою вчерашний.

И таких очагов было немало вокруг, и вокруг каждого теплилась жизнь. И таких городов, деревень затеряно было в южных степях великое множество! Покоем и дремной покорностью дышали они, отзываясь в груди молодого изгнанника непокоем, тревогой, вызывая горячую думу.

Но в то же самое время все эти мысли и ощущения не рождали еще никакого определенного вывода, они возникали и отлагались на глубине, оставаясь как бы *мыслями впрок*. Пушкин был очень молод еще, и личное, свое, в нем буше-

вало, подобно морскому прибою. Когда же увидит он южное море? Порою охватывало его нетерпение, подымавшее с места, и казалось уже, что Раевские никогда не приедут…

Пушкин лежал на лавке в бреду. Лихорадка трепала его уже вторые сутки. Неосторожно выкупавшись как-то под вечер, он, как говорится, простыл. К ночи особенно стало нехорошо, тревожные видения его беспокоили.

Сначала все было простым повторением действительности, как он недавно ушел гулять на Мандрыковку и увидел, раздвинув кусты: от острога бегут два человека, громыхая общею цепью. Берег недалеко, и он вместе с Никитой, который, заждавшись, здесь его отыскал, – оба услышали звук от падения тел, с высоты бултыхнувшихся в воду, и тотчас увидали, как быстро поплыли, дружно ударяя ногами, прикованные друг к другу беглецы. Но вслед за тем оказалось внезапно, что совсем не разбойники, а это он сам – он сам и Никита, – бежав из острога, сидят, поджав ноги, на песчаной отмели острова. Ноги его ноют от сбитых оков. Он задыхается от напряжения: и страшно, и радостно вместе. Погоня близка, но он не допустит их до себя! И – открывает глаза: тюремщики близко, они стоят перед ним…

Нет, не тюремщики: двое военных!

Обеспокоенный, но все еще полусонный Никита зажигает огарок сальной свечи, бегут по стенам торопливые гигантские тени. Кажется: сразу вошло много людей; бред про-

должается… Пушкин проводит рукой по глазам: Раевские! И при бледном мерцающем свете видят Раевские: на голых досках, полуподнявшись, опершись в изголовье на локоть, небритый, худой и изможденный Пушкин глядит на них не шевелясь. На пустом столе перед ним кружка воды, сахар, лимон.

– Он, кажется, болен и бредил, – говорит генерал. – Растереть его спиртом! Наверное, это простуда.

Николай бросается к другу и берет его за плечи.

– Ты узнаешь меня, Саша?

От порывистого движения шинель сползает с плеча и падает на пол. Никита неспешно подходит и поднимает ее.

Пушкин минуту молчит. Ему кажется, что только теперь он все понимает как следует. Раз они вместе… так кто же может их разлучить – раз они вместе… бежали – и он, и Николай? И, как бывает только в бреду, когда он еще не вовсе покинул, а сознание все же вернулось, Пушкин шепчет уже об этой счастливой действительности:

– Ну, что ж, говори! Вышло? Все вышло? Младший Раевский кивает ему утвердительно.

– Так, значит, теперь я на свободе?

И он пытается уже улыбнуться, и голос еще немного дрожит, но в нем уже различима шутливая нотка:

– Кажется, я на сей раз… Действительно, кажется, я убежал! Здравствуйте, Николай Николаевич, как я рад наконец вас увидать!

Генерала Раевского Пушкин привык почитать еще с детских лет, и теперь он был истинно тронут, что тот сам пришел с сыном в эту лачугу: и к кому? – к опальному юноше! – и в столь поздний час!

– Как вы нашли меня? Никита, дай стул!

– Не сразу нашли. Нам все называли какую-то Мандрыковку.

– А! Там я гуляю всегда, и там привыкли видеть меня. А ночую здесь, в Цыганском Куту. Но как же мне вас принимать? Нет стульев!

Стульев действительно не было. Дорожный сундук да табуретка – вот и вся обстановка. Генерал улыбнулся.

– Вы здесь, как видно, совсем по-походному. Я пришлю вам сейчас нашего доктора.

– А я уж здоров! Вы меня вылечили одним своим появлением. Да когда вы приехали? И где же остановились?

– Погоди, Александр, хорошо ль тебе много так говорить? Остановились у губернатора.

Пушкин живо обернулся к Николаю:

– У Карагеоргия? Знаю. У него на щеке бородавка.

– А приехали вечером, час назад.

– И прямо ко мне?

И, сунув ноги в туфли, схватив Николая за рукав, как за ветку в лесу, чтобы быстрей подтянуться и встать, Пушкин вскочил, подбежал к генералу Раевскому и крепко пожал ему руку.

– Рука горяча, – отвечал генерал на приветствие. – Но ничего, будет все хорошо. Вам надо выпить чего-нибудь теплого. Мы поставим вас на ноги, и вы поедете с нами.

А на Кавказе и вовсе поправимся. Я говорил уже с Иваном Никитичем Инзовым, он вас отпускает со мной. Пушкин едва удержался, чтобы его не обнять.

Доктор – высокий, худой, с узким разрезом внимательных глаз – был поутру поражен, увидев ночного своего пациента. Пушкин, побрившись, пришел к Карагеоргию, был весел, даже шумлив; правда, несколько бледен, но шутил и болтал без умолку с младшим Раевским.

– Ах, Николай, – говорил он ему, сидя за завтраком. – Я никогда не забуду этой услуги твоей, вечно, поверь, для меня незабвенной. Ведь когда бы не ты, здесь бы сидеть мне без дела и без людей и глотать эту пыль.

Пушкин немного знал в Петербурге Раевскую-мать и старших ее дочерей – Екатерину и Елену. Екатерина Николаевна была настоящей красавицей, и Пушкин по ней тайно вздыхал. Но очень запомнилась ему и Елена. Однажды ему довелось застать их обеих у Василия Андреевича Жуковского. Елена сидела с матерью на маленьком полукруглом диване. Рядом с нею в небольшой пузатенькой кадке высился молодой кипарис, привезенный кем-то Жуковскому в подарок с Афона. Пушкин очень любил это деревцо и не раз, полушутя, удивлялся, почему это в Древней Греции венчали не ки-

парисом, а лаврами… И он унес с собою это видение: стройная юная девушка и такой же рядом с ней кипарис.

Он и тогда еще понял, с какою-то болью в душе за себя самого, как дружна была эта семья. Но только теперь, глядя здесь на Раевского в окружении младших его дочерей, Пушкин почувствовал с полною силой, что именно от него – от отца – шло все это тепло и к нему возвращалось.

Болтая сейчас с Николаем, радуясь предстоящей поездке, он прислушивался и к разговору Раевского-отца с губернатором, с Инзовым, одновременно кидая взгляд и на девочек, смирно сидевших со строгою своей англичанкой мисс Мяттен. Раевский судил обо всем неторопливо, спокойно и вразумительно.

– Хоть говорят, что великий князь Николай Павлович повторил чьи-то слова, смотря на дворец князя Потемкина: «Этот человек все начинал, ничего не кончал», но сколько же он и довершил! Он заселил обширные степи, он сотворил и сей Екатеринослав, и Николаев, и Херсон…

Тут Пушкин едва его не прервал. Он числил Херсон за двоюродным дедом своим Иваном Абрамовичем. Да и не так это было давно, каких-нибудь сорок лет тому назад! Дед построил Херсон и поссорился с Потемкиным, но государыня его оправдала и надела на него александровскую ленту. Пушкин знал хорошо семейные предания свои и ничего не хотел из них уступать. Но он отложил этот спор о Потемкине до путешествия.

– А кто выстроил флот Черного моря? – продолжал генерал. – Кто уничтожил гнездо неприятельское и приобрел Российской державе Крым и Тавриду? Чего же, спрошу, он не докончил? Не докончил он только круга человеческой жизни, не достигнув границы, ей предназначенной, и скончавшись во всей силе ума и тела.

Карагеоргий был тучен и недалек. Он подавал только короткие реплики:

– Вы истинно правы, ваше высокопревосходительство. Князь Потемкин-Таврический был как светило на фоне…

Тут, как бы на помощь себе, он принимался поглаживать пальцем свою бородавку, но и это мало ему помогало: на фоне чего – так и осталось загадкой.

– Чего ты смеешься? – спросил Николай, заметив, что Пушкин не удержался и фыркнул.

– Смеюсь я на *фоне*… умных речей, – быстро ответил тот и легонько кивнул на губернатора.

Инзов за завтраком был молчалив, даже задумчив. Вольное замечание Пушкина он все же расслышал и через стол взглянул на него. Александр заметил, как весело блеснули голубые глаза из-под густых, чуть уже седоватых бровей, и по-мальчишески, не удержавшись, кивнул и ему.

Девочки слушали старших, но украдкой поглядывали и на Пушкина. Они о нем многое слышали. Самая младшая, Соня, сидела степенно и чинно. Марии, заметно, это давалось с трудом. Какое-то замешательство вышло у нее за пирогом,

она едва из-за стола не убежала; все это не укрылось от Пушкина. После обеда он к ней подошел и начал допытываться.

– Это нельзя сказать, – ответила девочка и покраснела.

Пушкин сел на диван. Снова ему становилось нехорошо: жар, озноб.

Мария заметила это и забеспокоилась. Минуту подумав, она доверительно склонилась к нему и негромко спросила:

– А сами вы тоже… не съели вы муху?

Пушкин весело рассмеялся, горячей рукой поймал ее прохладные пальчики и, вслед за тем приподнявшись к смуглому озабоченному лицу девочки, прошептал тоном заговорщика:

– Ну, вот я и отгадал весь ваш секрет: в пироге была муха?

– Только об этом ни слова, и никому. Ради бога!

Он открыто смеялся теперь ее изумительной выдержке: все-таки съела… вот это характер!

С этой минуты они подружились. Подошедшему доктору Пушкин сказал:

– Да, да… Опять. Пишите рецепт. Но только получше что-нибудь: *дряни я в рот не возьму*.

И при этом состроил такую смешную и кислую мину и так лукаво-сочувственно взглянул на Марию, что та, забыв о мисс Мяттен, неудержимо наконец расхохоталась.

Весь поезд Раевских состоял из коляски и двух четырехместных карет. В одной ехали девочки, рыжая мисс Мяттен

и молоденькая татарочка Зара – компаньонка при девочках и крестница генерала: звали ее по-русски – Анной Ивановной. Сам генерал ехал со своим доктором Рудыковским, Пушкин и Николай Раевский сели сначала в коляску. Обоим им нравилось, что они ехали впереди и можно было держать себя, не стесняясь присутствием старших. Но Пушкину все еще было временами плохо, и в конце концов оба молодых человека перебрались в карету к генералу. Доктор пичкал больного лекарствами.

– Этот славный медик уморит меня, – жаловался Пушкин после каждого приема хины. – Нет, обещайте меня в дороге не уморить!

Но по-настоящему плохо ему становилось лишь к вечеру, да и то в самые первые дни. Крепкий его молодой организм постепенно одолевал болезнь. Впечатления пути да и самое передвижение вливали в него новые силы.

Огромные ветки белых акаций, которые для них наломали в саду у губернатора, вскоре увяли, и их заменили теперь букеты свежих цветов: ромашки, гвоздики и колокольчики. И Пушкин, и девочки часто выскакивали и ныряли в лугах то за тем поманившим цветком, то за другим. Мария всегда добавляла в букет горсточку злаков, искусно их размещая между цветов.

– Это дает ощущение воздуха, степи… как вы не понимаете? – говорила она с полудетским кокетством.

Пушкин отлично все понимал и любовался ею.

Соня была хоть и важным, пожалуй, несколько даже и томным, но все еще совершенным ребенком. Мария же воспринимала все очень остро. У нее был серьезный характер, и самой себе она представлялась уже взрослою девушкой. Пушкин живо теперь вспоминал старших ее сестер. Не только она не была так хороша, как они, и просто красивой никак ее не назовешь, но под теплым, ласковым ветром, в степи, среди цветов, она была больше чем хороша – очаровательна.

Мария переживала тот возраст, когда у девочек – подобно тому, как у мальчиков ломается голос, – также «ломается», только в более раннюю пору, вся внешность и все их манеры. И черты их лица, и черты характера, развиваясь неравномерно, как бы набегают друг на друга, сдвигая один рисунок, а новый, другой, лишь позволяя то угадать, а то ошибиться. Отмечать это изо дня в день, при живом постоянном общении, было весьма завлекательно. Между собою Мария и Пушкин как бы и ссорились, но лишь затем, чтобы со смехом и шуткой тотчас помириться, и говорили, случалось, серьезно. Непрерывное движение это, внутреннее становление жизни, характера с избытком собою красоту заменяло.

Бывали минуты, когда Маша Раевская и подлинно была хороша – той внутренней особою красотой, которая, светясь изнутри, преображает лицо и привычные черты его делает необычайно выразительными, пленительно живыми. Глубокие черные глаза ее смотрели на Пушкина с такой прямотою и честностью, что ими нельзя было просто так любоваться

– они говорили о большом и значительном, порою как бы предрекая девочке этой судьбу, исполненную горечи и испытаний. Но, конечно, не все открывала она своему милому спутнику: в четырнадцать лет бывают такие серьезные тайны! И страшно даже подумать о том, что в них можно признаться кому бы то ни было или что могут их отгадать…

Пушкин, впрочем, и не отгадывал: это вело бы к какой-то неоправданной сложности, а он испытывал в эту поездку прежде всего прямое чувство освобождения, забвения именно сложностей жизни, томивших его не только в последнее время в столице, но и в маленьком мирном Екатеринославе до приезда Раевских.

Редко с кем он себя чувствовал так исключительно просто, легко, как с Раевским-отцом. В этом старом воине, корпусном командире, отвага и богатырство как бы отдыхали в годы покоя. В нем было смешано много по первому взгляду разноречивых и по-своему определительных черт, из которых каждой хватило бы на законченный человеческий характер.

Правда, бывал он порою насмешлив и желчен. Но он же был и добр – широкою и простой добротой сильного человека, который удивился бы искренне, услышав такое о себе суждение. И то, и другое имело в нем корень один: чувство правдивого и справедливого отношения к людям; чем был выше и занозистее, хвастливее какой-либо сановник, тем был Раевский с ним резче, но тем спокойнее видел он и

уважал человека там, где человека видеть не полагалось. И казался, пожалуй, он именно воином прежде всего, но, однако же, и семьянином: крепким и несколько по старинке требовательным и деспотичным. И все же деспотизм его шел от любви, и потому эта властность отца не мешала детям любить его. И он их любил с великой нежностью. Так, пожалуй что, дуб, нерушимо закованный в броню своей крепкой коры, изборожденный морщинами лет, сам не раз поцарапанный ударами молнии, широко кидает в простор свои могучие ветви, из которых каждой хватило бы на отдельное дерево, и трепещет одновременно под солнцем молодою узорной листвой, строго крепя и охраняя общую слитность, единство.

Таким представлялся б он издали, на расстоянии лет – Николай Николаевич Раевский-отец, и так он неполно воспринимался своими современниками, каждым по-разному: чудо-богатырь, семьянин, сельский хозяин.

Пушкин хорошо чувствовал всю эту сложность. Но самое важное, что шло от него и незаметно, но прочно ложилось в душе, – это было живое дыхание истории. Двенадцатый год и легендарный герой, воспетый Жуковским:

Раевский, слава наших дней,
Хвала! Перед рядами —
Он первый, грудь против мечей,
С отважными сынами…

И вот он же сидит в карете напротив: живой и простой че-

ловек, от которого, слышно, идет живое человеческое тепло, плечи которого ничуть не окаменели под эполетами славы…

Потемкин, к которому Раевский чувствовал некоторую слабость, был дядею генерала, точнее – Раевский приходился светлейшему внучатным племянником. В свое время Потемкин писал ему наставления. Как-то припомнил Николай Николаевич первые строки: «Во-первых, старайся испытать, не трус ли ты; если нет, то укрепляй врожденную смелость частым обхождением с неприятелем».

Пушкин порою прикидывал и себя на эти слова. Войны и неприятеля не было, но он не был трусом и был готов укреплять врожденную смелость возможно частым «обхождением» с противником на дуэлях. Еще недавно манила его и военная служба, но настоящего увлечения все же не возникало. Когда бы война – дело другое!

Не раз вспоминал Пушкин в дороге и Ивана Никитича Инзова. Он слышал, как, разговаривая с Раевским, начальник его говорил «о расстроенном здоровье поэта» и о необходимости ему полечиться, о том, что по молодости лет он попал «в неприятное положение», а потому ему надо помочь, предоставив возможность «безвредной рассеянности». «Вот почему, ежели бы вы, ваше превосходительство, не обратились ко мне, я сам бы ходатайствовал перед вами о том самом. А в Петербург я напишу, пусть сообщат при случае графу Каподистрии…»

Пушкину стоило большого труда не выдать, что он хоро-

шо разобрал эти слова Инзова, доносившиеся к нему из другой комнаты, как заботливое глуховатое жужжанье шмеля, неторопливо оглядывающего цветок за цветком. Он только особенно крепко пожал на прощание его добрую руку.

Раевского Пушкин уважал серьезно и глубоко и никогда бы себе не позволил над ним подшутить, посмеяться. Инзов же, за время короткого общения с ним Пушкина в Екатеринославе, напротив того, нередко как бы на это сам его вызывал, но он же и трогал по-настоящему. Чего в самом деле стоила хотя бы одна эта забота и доброта, с какою он отпускал на Кавказ своего поднадзорного. Для того чтобы полностью понять и увидеть этого чудесного человека, совсем не было надобности оглядывать его, размышляя, издалека: вот он сейчас и далеко, а будто бы видишь его перед собою, и уж никак не генералом, а, странно сказать, почти что товарищем, с которым можно совсем и не чиниться. И уже теперь чувствовал Пушкин, что если его почтительность и уважение принадлежали Раевскому, то к Инзову может он привязаться по-настоящему, крепко и от души его полюбить.

Южные степи однообразны, но нескучны. Как хороша эта поездка!

Да, вдоль дороги везде молочай и полынь, ромашка, цикорий, но как же красив и простой серебристый ковыль, когда он под ветром стелет свои переливные легкие волны. Сверчки и кузнечики; трепетание бабочек – воздушных цветов;

пчелы, шмели, чибисы, суслики. Вот куропатки вспорхнули быстрой тревожною стайкой. Невольно глаза устремляются кверху: распластанный хищник размеряет удар. На заре, пробудившись, Мария увидела раз, как на опушке заяц стоял и умывался. Она улыбнулась ему и подумала: «Пушкину расскажу». Но молодой сон сладок и крепок: забыла.

Да – по дороге деревни и кузницы, кладбища, сады, колодезные журавли, стада и собаки; пожалуй, и верно – все одно и одно, но как хорошо возникновение утром дальнего города с узкими шпилями над колокольнями, с отгадываемым пробуждением улиц, со стаями голубей: сверкнули на солнце, исчезли – и снова сверкнули.

Хлеба и луга. Походная кухня с запахом дыма и сала: глазунья яичница. Лиловые тени и мерная музыка копыт. Роса и прохлада, и ночи под звездами. Давно кончился Днепр, и ветер с востока приносил уже прохладу другой великой реки; там где-то, в таких же степях, катил свои воды разлившийся Дон – тихий Дон Иванович!

Чумаки проезжали оттуда: велико дело – хлеб, но без соли его не поешь; соль везли с Маныча.

– Как у вас нынче там, на Дону: русской воды было поболе али казацкой?

– А ноне, братец ты мой, казак с вашим братом, русским, сшибку большую в низовьях имели, вместе сошлись.

И кучер с козел, как если бы Пушкин не понимал, ему поясняет:

– А русская вода, видишь, барчук, она на верховьях, а казак сидит понизу. Коли в низовьях вода запоздает, а в верховьях ускорится, так половодья бывают зараз и воды по весне дюже богато.

«Дон, Дон, Дон…» – эти слова звучали теперь и повторялись все чаще и чаще. И возникало желание поскорее увидеть эту древнюю реку, ту самую, к которой и старая Русь стремилась с такою упорною страстью: «испити шеломом Дону». Жуковский переводил «Слово о полку Игореве», и Пушкин знал об этой его работе; сам он в лицее «Слово» учил по хрестоматии Греча, где помещен был отрывок: «Сражение Россиян с половцами» в переводе Шишкова. Все это живо теперь припоминалось.

Ночь была на исходе, когда Пушкин проснулся. Все спало окрест, быть может, и кучер слегка задремал, кони шли шагом, порою пофыркивая и тем нарушая прохладную тишину предутреннего часа; пахло чебрецом и полынью; призрачно стлался ковыль, убегая, как волны, теряясь в туманах, заколыхавшихся на горизонте. Все это было как ночное дыхание огромной бескрайней древней земли.

Это было уже то самое грозное половецкое поле, где скрипели в ночи телеги кочевников. «Долго ночь меркнет. Заря свет запала, мгла поля покрыла». Такое же туманное утро когда-то представилось и ему самому, когда живописал в «Руслане» стольный град Киев, осаждаемый печенегами… И он, приподнявшись на локте, бесшумно опустил в карете окно и

стал глядеть в этот простор – туманный и зыбкий. Сознание, как это бывает после глубокого сна, не прерванного никаким внешним звуком или толчком, было особенно ясным: в такие минуты оно не начинает еще привычной своей беспокойной работы и лишь отражает в себе весь необъятный, также затихнувший мир. Да вовсе и нет противопоставления миру, частицей которого так гармонично и просто себя ощущаешь. Это не бурная дневная жизнь, но и не сон: это зыблется самое время – и убегая, и не уходя. Уходит история или дышит она, пусть утаенно, но не ушедшая начисто, а пребывающая в каждом сегодняшнем дне не умирая? Нет, нет, никогда не умирает она, и радость большая, когда это живо и непререкаемо верно почувствуешь…

Такова была и эта степная «половецкая ночь»; таковы в ту ночь были и мысли… – нет, и не мысли: таким было самое состояние Пушкина.

Он хотел было снова поднять окно, но рука ослабела и тихо упала; так же тихо закрылись глаза, и дыхание сразу сделалось ровным, спокойным. Пушкин непроизвольно выпрямил локоть, уснул.

Утро было в росе и цветах. Ветряные мельницы лениво махали крылами. Младший Раевский потягивался, разминая занемевшие члены. Жизнь просыпалась в обычном порядке: все, как всегда, как стало привычно за эти несколько дней путешествия. И Пушкин забыл совершенно свое пробуждение ночью, похожее на сон наяву.

Но что-то и оставалось. И только значительно позже, в середине дня, когда было переговорено о многом и многом, в памяти встали другие, соответственно дню, уже звонкие и блистательные строки – из того же «Слова о полку Игореве».

Пушкин любил этот образ яр-тур Всеволода, стоящего «на борони», он сделал движение рукой и вслух продекламировал то, что в лицее еще заучил наизусть:

– «Прыщеши на вой стрелами, гремлеши о шеломы мечи харалужными. Камо, Тур, поскочаше, своим златым шелмом посвечивая, тамо лежат поганые головы Половецкие…»

– Какая у тебя великолепная память! Но и я не хочу тебе уступить, я прочту из другого поэта…

– Прочти. Я тебя слушаю.

– Может быть, ты и узнаешь, – рассмеялся Николай, блеснув белизною зубов, и прочитал из «Руслана и Людмилы»:

Где ни просвищет грозный меч,
Где конь сердитый ни промчится,
Везде главы слетают с плеч
И с воплем строй на строй валится…

Тут рассмеялся и Пушкин.

– А это, – произнес он с комической важностью, – это опять-таки «Сражение Россиян с *печенегами*». – И он улыбнулся, что Николай его не поправил.

Генерал Раевский приказывал иногда ехать шагом, и тогда оба молодых человека выскакивали из кареты и шли ря-

дом, оживленно болтая о Петербурге, о видах на будущее, о близости снежных гор.

Впрочем, их разговор иногда обращался и на предметы, далекие от житейских интересов. Раевского, невзирая на всю его юность, серьезно уже занимали вопросы истории. Потолковав о «Слове» и повосхищавшись, они переходили на казацкую вольницу.

Чумаки коротали долгий свой путь длинными песнями:

Ой, полети, галко, ой, полети, чорна,
Та на Дон рыбу исти,
Ой, принеси, галко, ой принеси, чорна,
Та од кошевого висти…

Раевский записывал различные эпитеты, что применялись к казакам: верные, храбрые; воровские; понизовая вольница; воры и разбойники; голь кабацкая; честное козацкое воинство…

Тут, ближе к Дону, помнили грозного Стеньку, и Николай подумывал начать собирать материалы по восстанию Разина.

Раевских встречали повсюду с почетом и пышностью. К ним выходили навстречу с хлебом и солью, приветствуя славного защитника отечества. Генерал приподымался с сиденья и кланялся, а Пушкину потом говорил, добродушно и широко улыбаясь:

– Прочти-ка им свою «Оду». Что они в ней поймут? – Он разумел оду «Вольность», и Пушкин на сей раз позволил се-

бе также вольность:

– А что ж, генерал, и прочту, как только выдастся случай.

Подходящего случая, конечно, не выдалось, но зато на Дону запомнил он и сам несколько песен – разбойничьих:

…Не голуби промеж себя воркуют,
Промеж себя разбойники бушуют…
Не леса шумят, не дубровушка,
Разыгралась волюшка атаманская…

Однажды ему довелось услышать одну вольную песню, которую знал еще по чулковскому сборнику. Но тогда особого внимания он на нее не обратил. Теперь же слова и самая мелодия с ее глубокою тоскою, давшей себе полную волю излиться, по-настоящему его тронули.

Был вечер, пылал закат, и в тишине одинокий сильный и сдержанный голос стлался над степью:

Ай, далече, далече, во чистом поле,
Стояло тут деревцо вельми высоко;
Под тем ли под деревцом вырастала трава;
По той ли по травушке расцветали цветы,
Расцветали цветы да лазоревые;
И на тех ли цветах да разостлан ковер,
А на том ли ковре два братца сидят,
Два братца сидят – два родимые.
Меньшой-от братец песню спевал:
«Породила нас матушка да двух сыновей,

Вспоил-вскормил батюшка да двух соколов;
Вспоивши, вскормивши, ничему не научил…
Научила молодцов чужа-дальня сторона,
Чужа-дальня сторона, понизовы города…»

Эта вечерняя песня, освещенная багрецом степного заката, сплеталась теперь в воображении с судьбою бежавших в Екатеринослав разбойников. Он видел тех беглецов только издали, как, громыхая цепями, бежали они по откосу к реке, но как если бы ясно различал и их лица: сколько их там на базаре бродило, выпрашивая себе подаяние.

Травы в степи, уже кое-где и отцветшие, роняли на землю зерно, которому в ней лежать до поры. Так, до поры, пало и это зерно – о братьях-разбойниках – в творческую память Пушкина.

Просилась туда и еще одна тема: об атамане разбойников, о купеческой дочери и о любовнице атамана.

С детства он слышал от няни милую песню:

Как у нас по морю,
Как у нас по морю,
Как по морю, морю синему,
По синему, по Хвалынскому…
Плыла лебедь,
Плыла лебедь,
Плыла лебедь с лебедятами,
Со малыми со детятами…
Плывши, лебедь,

Плывши, лебедь,
Плывши, лебедь встрепенулася,
Под ней вода всколыхнулася…

Няня выговаривала: не «у нас по морю», а «в нас по морю», мягко, и когда пела «плывши лебедь» и дважды повторяла эти слова, лебедь плыла тихо и важно, спокойно, едва поводя белопенным крылом, а когда «плывши, лебедь встрепенулася», то и в самом мотиве, и в голосе няни – крылья сильно вдруг ударяли, и с такою же силою быстро колыхалась вода. И в Царскосельском лицее, глядя на екатерининских лебедей, Пушкин не раз отдавался этому двойному чарованию слов и слитной с ними, скрытой в них музыки…

Песни о Доне и о славном том синем море Хвалынском слышались теперь почти непрестанно, как если бы шелестели они в тростнике, по берегам. И долетала такая родная сестра – по запевке и по мелодии – детской его, няниной песне:

Как по морю,
Как по морю,
Как по морю, морю синему,
По синему, по Хвалынскому…
Видна в море,
Видна в море,
Видна в море легка лодочка…

Не лебедь уже, а лодка, изукрашенная бусым (опять словечко из «Слова»!) – бусым жемчугом. И на корме той лодки – есаул у руля, а на носу той лодки – атаман с ружьем, а посередь лодки – золота казна, на златой казне лежит цветно платьице, на цветном платьице сидит красна девица, атаманушке полюбовница.

Травы, цветы, песня, история – давняя и недавняя: все это щедро дышало, благоухало, звучало и веяло в чудесные дни путешествия Пушкина в южных просторных степях.

Но вот они уже и кончались – узкой полоской на горизонте сверкнуло Азовское море. Оно не было издали синим и бурным, казалось, спокойно дремало оно, полеживая у берегов, пригревшись на солнце, сизое, дымное, с перламутровым отсветом отражавшихся в нем облаков. Девочки подняли радостную возню, требуя подъехать поближе. Но дорога и так клонила наискосок к морским берегам. Коней остановили наконец по настойчивой просьбе Марии; она, выскочив из кареты, тотчас же и побежала к воде, а через минуту белые ее туфельки замелькали на желтой песчаной отмели. Она резвилась, как дитя, платье ее на бегу развевалось, билась коса с ярко-желтой лентой.

Пушкин любовался ею издали. Волны, мягко шурша, набегали на берег и убегали; девочка гонялась за ними, столь же стремительно и убегая, когда они настигали ее. Это было прелестно, но мисс Мяттен была на сей счет противного мнения. Она призывала Марию вернуться, но то ли волны

мешали расслышать ее возмущенные возгласы, то ли была не расположена девочка слушать ее, только на этот раз дисциплина явно была поколеблена.

Однако когда и послушная, малоподвижная, Соня, увлекшись примером сестры, придвинулась к самой воде, мисс Мяттен решилась и тронулась с места сама. Важное ее положение в семье генерала не дозволяло ей побежать, но все же она торопилась, и то, как чопорно выступала – походкою, выработанной для равномерного шага, – и делала одновременно эти шаги шире и чаще обычного, все это было так забавно-нелепо, что Пушкин не мог не рассмеяться.

И все же внезапная эта веселость и даже насмешливость ничуть не мешали (так он умел и всегда) другому его, ясному и чистому ощущению – глядеть и глядеть, как шалит с набегающими волнами эта милая резвая девушка Мария Раевская, четырнадцати лет, серьезная хохотушка с черными глазами, глядя в которые невольно подумаешь: что-то сулит ей судьба?

Мария промочила ноги, но никому, конечно, не сказала об этом: она обежала мисс Мяттен по полукругу и, почти прыгнув, скользнула в карету. И то, что туфли ее были мокры и что она это скрыла от всех, и особенно от всевидящей англичанки, – все это только еще добавило к ее удовольствию, к одному из тех удовольствий, из которых и слагается ранняя юность.

Пушкин не бегал сам за волнами, но все, что до него до-

ходило извне, становилось тотчас же своим, пережитым: он знал эту радость и щедрого отдавания себя, и богатого восприятия мира.

Мариуполь и Таганрог – приморские города в окружении мачт и парусов. Рядом с кирпичными зданиями – простые дома, крытые прошлогодней соломой: деревня. Но тут же слышны и заморские запахи, иноземная речь. Торгуют по преимуществу хлебом, скотом. Море неглубоко, пристаней нет, и телеги въезжают в самое море. По вечерам харчевни полны матросами, грузчиками, мелкими комиссионерами из местных жителей – греков. То же в Ростове, только там вместо греков армяне из Нахичевани.

Таганрог, впрочем, особенно остался у Пушкина в памяти.

Путешественники обедали и ночевали у градоначальника Папкова, который продал в казну свой собственный дом и остался в нем жить – по должности. Эта сметка всех позабавила. Да и обедал он, угощая гостей, тоже, конечно, за счет казны-матушки…

Самый дом был обширен, тринадцать окон по фасаду, с канцелярией и кабинетом, залом, столовой, буфетной, двумя гостиными и тремя жилыми комнатами. С террасы над изрядным обрывом был вид на Азовское море. Раевский и вид, и дом похвалил.

Хозяин был очень польщен, но тут же и прихвастнул, осо-

бенно твердо погрузив подбородок в тугой воротник мундира:

– Я счастлив, ваше высокопревосходительство, напомнить, что и государь император Александр Павлович, обожаемый наш монарх, два года тому назад также соизволил у меня останавливаться и так же, как и вы, ваше высокопревосходительство, соблаговолил видом похвалить и вид похвалить: «Ты, Папков, занимаешь скромный удел в сей жизни, – так он отнесся ко мне, я бы сказал, с какой-то особою кротостью, – но от этого спокойного моря и мирных деревьев идет, Папков, тишина и сознание тщеты…» И не договорил-с…

Так Александр здесь ночевал! Не кроткие и не скромные, не мирные чувства всколыхнулись у Пушкина. Он о них как бы забыл и сам удивился, с какой остротою их вновь ощутил. Нет, эта рана не зажила, и заживет ли?..

– Ты ляжешь со мной в царских покоях, – сказал ему вечером Николай Николаевич.

И действительно, именно эта обширная комната и была спального комнатой царя. В ней стояли две совсем одинаковые кровати. «Как знать, – думал Пушкин, – очень возможно, что как раз в этой самой постели покоился и обожаемый Папковым монарх…» Эта-то ночь, не очень спокойная, и осталась в памяти Пушкина: ночь в Таганроге.

Другое совсем – станица Аксай. Вот наконец-то и Дон! Пушкин не утерпел, выкупался в тихом Дону. Воды его, чуть зарозовевшие от предвечернего неба, казались почти недви-

жимыми, но только казались. Стоило в них погрузиться, и всем телом Пушкин ощутил, как этот могучий древний Танаис действительно тихо, но и мощно-упруго продвигался вперед как бы единой живою волной. Это было великое наслаждение – так ощущать спокойствие силы.

И рассказы чумаков о половодье оказались верны: воды были едва обозримы.

Пушкин ловил на лету разговоры. Вот на берегу у костра казаки полуднуют, рыбу едят – не с хлебом, а с пшенною кашей.

– Мы раньше тут жили, – обратился к нему старый казак, – ровно собаки сторожевые. Чуть что – и на коня; чуть что – и к ногаям на линию. Пудовка пшена да котелок через седло.

– А сети?

– Ну, еще бредень тащить! Скинешь штаны, перевяжешь осокой – вот тебе и сачок или там верша.

Из станицы Аксай Раевский послал казака-вестового к атаману Денисову с кратким письмом: «Буду назавтра обедать». Все были рады этому перерыву в путешествии.

Станица донских казаков Новый Черкасск, где жил атаман, была за тридцать пять верст по речке Аксаю. Отправились туда всею гурьбой, и вышла поездка на славу. На полпути наблюдали интересное зрелище: в одной из станиц казаки делили между собой сенокос. Все на конях и скачут по знаку казацкого старшины – кто сколько обскачет себе, то и обкашивай. Время считалось поворотами мельницы. Число

поворотов для всех одинаково, но у кого конь получше, тому и земли побогаче. Этот старинный обычай всех подивил. Обед закатил атаман изобильный, но особенно все похвалили цимлянское: пробки летели до потолка. Денисов рассказывал:

– Еще царь Петр Алексеевич, плывя на новых своих кораблях из Воронежа к Азову, на нижнем Подолье положил быть винограду. Из Франции были доставлены и виноградные лозы, и садоводы. А в благодарность за то после поездки в Париж, где посетил Дом инвалидов, послал он ветеранам Людовика Четырнадцатого сколько-то бочек донского вина. И, говорят, удивлялись вину ветераны…

Из окон видна была речка Аксай. На много верст по течению соединялась она разливами с Доном и казалась в ту пору могучей рекой, по которой приятно бы было совершить путешествие. И не кому иному, как самому генералу, пришла в голову эта мысль – ехать обратно не на лошадях, а водой. Атаман предоставил гостям большую четырехвесельную шлюпку. Как хорошо было отдохнуть от сухопутья. Лодка шла быстро вниз по течению, и после степных необъятных равнин заманчиво было следить, как по нагорному берегу то наплывет монастырь, скрывавшийся меж тополей, невысокий, скорее приземистый, какой-то домашний, но с горящими, плавящимися на солнце луковицами глав, а то редкой цепочкой возникнут дома – летние дачи, с легкими расписными заборами, цветами и садиком, а дальше пойдут на це-

лые версты рощи и виноград по холмам: точно другая Россия.

В станицу приехали поздно, и всем крепко спалось в эту ночь.

Наутро кареты отправлены были водою на большом хорошем судне на тот берег: ни много, ни мало, как целых восемнадцать верст! Попозже и сами путешественники переехали в шлюпках, догнав в пути экипажи.

Выйдя на берег, Раевский-отец повернулся, тронул Пушкина за плечо и сказал:

– Вот мы и в Азии.

Перевалив за Дон, ехали степями еще более двухсот верст, ехали, не останавливаясь, спали в экипажах.

Было раннее утро. Пушкин проснулся раньше других и высунул голову из кареты. Он увидел на горизонте: точно огромная в поле копна голубоватого сена. Повел головою – еще и еще… Так долгожданное предстало внезапно: горы! Еще не снежные горы, но уже настоящий Кавказ!

Быстро, но осторожно, чтобы не разбудить своих спутников, выпрыгнул он из экипажа и подбежал к карете, где ехали девочки. Окно у них было открыто, опущено.

– Мария! Мария! – позвал он негромко.

Мария спала, не услышала. Но вдруг он увидел два других человеческих глаза, сверкнувшие, как изумруд. Это была Анна Ивановна – Зара-татарка, учуявшая эту родную, уже

настоящую Азию.

– Вы видите? Видите там?

– Вижу, – сказала она и повела рукою по воздуху.

И в самом движении этом, угловато-стремительном, почудился Пушкину древний, далекий Восток. Он поглядел еще раз в зеленые эти глаза, потом отошел и, жадно вдыхая утренний воздух, глядя на горы – далекие, но все приближавшиеся в сиянии утра, – понял внезапно, что будет писать о Кавказе!

Глава вторая
Кавказ

Предгорья Кавказа встретили путников жестокой внезапной грозой, которая заставила их заночевать за сорок верст от Георгиевска.

Ввечеру середь ясного неба появились тяжелые темные тучи. Возникли они как бы из ничего и тотчас же стремительно понеслись навстречу друг другу, сами на себя громоздясь, погромыхивая. Сразу земля затаилась, притихла, лошади беспокойно прядали ушами. И вдруг прокатился по небу оглушающий рокот; молнии взбороздили одновременно во многих местах; земля под блистанием их лежала обмершая, иссиня-фиолетовая, и сразу же на нее ринулся дождь, смешанный с градом… Ветер завыл, закрутил и забился, и в наступившей вдруг темноте небо, земля стали неразличимы.

Порою становилось почти жутко. Ветер кидался с такою огромною силой, что казалось – вот-вот он все опрокинет и унесет с собою: и избу, где им оказали приют, и экипажи, и людей. Но для Пушкина эта неистовая схватка стихий была каким-то благодатным ударом, встряскою дремлющих сил. Он даже не знал, как это выразить, и, выйдя за двери избы на крыльцо, стал громко кричать, пытаясь перекричать ревы

грозы. Это ему не удавалось, он едва слышал сам себя. Град бил ему в лицо, волосы смокли, холодные капли скатывались за шею, но от этого было только еще веселей. Ах, хорошо!

Никита пытался его урезонить, звал войти в избу, но Пушкин без церемонии прогнал его от себя. Тогда вышел в шинели врач Рудыковский и начал не звать, а уже просто браниться.

– Как хорошо! – кричал ему Пушкин. – Вот и вы ко мне вылезли… Молодец!

– Вы с ума сошли! – в свою очередь, орал взбешенный медик. – Только-только поправились и хотите опять заболеть! Вот я генералу скажу…

Перед этой угрозою Пушкин не устоял. Мокрый, счастливый, вернулся он в избу.

Эта гроза пронеслась как ураган. Наутро умытое небо блистало такою глубокой, такою девической чистотой, что улыбались уже решительно все.

Такие чистые, ясные дни стояли теперь и на Пятигорье. Тут начиналась для Пушкина новая жизнь – оседлая, но и кочевая: Горячие воды, Железные воды, Кислые воды. Да и когда пребывали на месте, самая обстановка и образ жизни были полупоходными: можно побыть и еще, но в любую минуту можно и сняться с насиженных мест.

И в самой природе по первому взгляду был чудный беспорядок могучих порывов, застывших в минуту высокого напряжения. Все, в ней полно было силы и страсти, и все эти

изломы, углы каждой отдельной горы были похожи на черновик какой-то горячей и бурной поэмы, волнующей уже одной этой своею незавершенностью. Между старых деревьев кустарники всюду дики и непролазны; буйные травы дышали в лицо пряно и горячо; и горячи были струи целебной воды, с силой бившие здесь и там из расщелин в бурых и серых скалах. Их мелодический непрерывный звон сливался в одно со стрекотанием кузнечиков, пением редких цикад, а где-нибудь в узком ущелье и сквозной ветерок, казалось, им подпевал; ветерок… а кто знает – быть может, и фавн или сатир, уцелевший от мировых катаклизмов? При мысли об этом Пушкин лукаво посмеивался.

Все здесь волновало его и возбуждало. Горячая кровь, молодая и южная, бежала еще горячей. Жажда передвижения утолялась в полную меру. Физическая усталость рождала глубокий целительный сон.

А надо всем этим стояла великолепная синева неба с причудливою игрою свежих, то и дело сменявшихся облаков. Облака ложились порой и на горы, пышными рукавами одевая отроги Бештау. По утрам они, как барашки, перекатывались через крутизну, медленно сползая книзу и по дороге истаивая с тем, чтобы опять загустеть в какой-нибудь прохладной долинке и снова подняться ввысь.

Пушкин доселе гор никогда не видал и наслаждался ими без устали. Настоящие снежные горы, древний Кавказ-прародитель, были все еще далеки. Их снежная цепь на гори-

зонте каждое утро и каждый закат розовела за далью и казалась почти нарисованною. Соображая расстояние, можно было представить себе, как они были огромны. Эльбрус царил надо всем, как великолепный шатер рядом с раскинутыми по обе стороны белыми палатками. И удивительнее всего было то, что он-то сам дышал великим покоем и полною завершенностью.

И это было второе, уже более глубокое впечатление, испытанное Пушкиным в этом царстве гор. Не погашая совсем той нервной приподнятости, которая здесь охватила его в первые дни, оно как-то совсем незаметно ставило все на свое место. Бештау, Машук, и Железная, и другие соседние горы никак не оказывались случайной игрою природы, напротив, они были как раз таковы, как и должны были быть, и соотносились между собою в дивной гармонии. Сквозь причудливые письмена возникала глубокая, завершенная простота.

Так же и дни – веселые и подвижные – обретали свой ритм, все привычнее и яснее обозначившийся. Солнце будило, вечер звал спать. И человек, как и все живое вокруг, совершал свой размеренный каждодневный путь, и самая приподнятость, даже и возбуждение уже гармонично вздымались, находя свое место, как холмы между долинами созерцания и покоя; душевные ритмы мысли и чувства находили свое ладное соответствие с окружающим миром. Отсюда рождалось и ощущение того богатого бытия, когда каждый день полон был до краев.

Особенно прочно и как-то убедительно просто слагался день у Николая Николаевича-отца. По нем положительно можно было проверять часы: в пять он вставал, принимал первую ванну, в шесть уже пил утренний кофе, читал и гулял; в первом часу подавался обед, после которого, невзирая на возраст, он не ложился, беседуя некоторое время, и снова гулял – то с какой-нибудь книгой, то просто с дорожною палкой, не забывая при этом принять повторную ванну, а кстати и посидеть в галерее, полюбоваться никогда не наскучивавшей живописною панорамой; в семь пили чай, снова гуляли или садились за карты, но неизменно рано ложились.

У Пушкина день бывал живописнее и раскиданней. Кроме общих прогулок, а то и поездок подальше – верхом с молодежью – он очень любил забираться один куда-либо поглуше. Думы при этом его не оставляли. Именно думы, а не стихи и не рифмы. Он не овладевал еще по-настоящему яркими впечатлениями дня; буйно, пестро ложились они, еще не покорствуя поэтической музыке, не находя ее вольного, но и строгого лада. Порою даже казалось ему, что он уже и не сможет писать, хотя совершенно серьезно и окончательно он все-таки в это не верил.

Небольшая станица Горячеводск была расположена по склону и у самого подножия Машука. Она состояла всего-навсего из двух улиц с домами самого разнохарактерного вида; среди них были и вовсе простецкие, на скорую руку вылеп-

ленные турлучные хаты с земляным полом и кое-как вымазанными глиною стенами.

Древние ванны, высеченные прямо в скалах, рядом с сернистыми источниками, говорили о том, что целебная сила кавказских вод известна была исстари. Раевский-отец припомнил по семейным преданиям, что еще доктор Шобер, лейб-медик Петра Великого, во время персидского похода, назад тому лет уже сто с небольшим, натолкнулся на горячие воды на Тереке и зело их хвалил, а в середине прошедшего, восемнадцатого века доктор Гевит отобрал десяток солдат с самыми разными болезнями и купал их всех вместе, как в деревенском пруду, в одной большой яме: кому как поможет! Так лечили в Кизляре.

Пушкин мальчишески хвастался и озорничал, что у него одного хватит болезней на десять солдат. Дамы слушали его с изумлением, а доктор Рудыковский при этом серьезно грозил ему пальцем.

Врач этот, бывший семинарист, как видно, по-настоящему любил свое дело, кое-что знал и, со своей стороны, поминал имя Палласа, известного врача во времена Екатерины Второй, занимавшегося научными изысканиями под охраною русских казаков. Все это были ученые вылазки отдельных людей, и только лет сорок тому назад в долине меж гор – Машука и Бештау – заложено было Константиногорское укрепление – одно из звеньев в целой цепи укреплений от Азова до Моздока.

По всему было видно, что русский человек хозяйствует здесь еще вовсе недавно.

И все же кое-что намекало на то, что хозяйство определенно затевается на широкую ногу. В начале столетия чума приостановила было здесь жизнь, но уже в двенадцатом году снова потянулись целые поезда богатых людей, и кареты, коляски зачернели опять по склонам зеленой горы: люди лечились, а кони округляли бока на сочных лугах.

Такой же полупоходный порядок, – хоть двенадцатый год уже давно отшумел, – сохранялся и посейчас: так же между домами там и сям раскинуты были, поближе к источникам, калмыцкие кибитки и простые солдатские палатки; приезжий народ так же располагался табором, кому где полюбится. Но уже была выбита основательная каменная лестница и проложена горная дорога для экипажей. Строили новые ванны, расчищали дорогу на нижнем уступе горы. А в прошлом году Горячеводск посетил сам Алексей Петрович Ермолов, командующий всеми войсками на Кавказе, в недалеком прошлом так же, как и Раевский, герой Бородина. Он все оглядел и обо всем по-хозяйски распорядился, утвердив план работ вперед на семь лет.

Как это все будет выглядеть в будущем? Пушкин сейчас об этом не думал. Скорее, напротив, манила его именно дикость нового края, его романтичность. Он вспоминал приподнятые строфы Державина и летучие наброски Жуковского. Иногда возникали и свои отдельные строки; он им пока

не придавал никакого значения.

Александр, так же как и Раевский, купался в горячей сернистой воде, с трудом сохраняя то спокойное положение тела, которое строго-настрого предписывал Рудыковский. Ему больше нравилось, как на уступе горы каких-нибудь смельчаков опускали на блоке в корзинах в глубокий, сильно пахнувший серой провал, точно закидывали туда огромную вершу. Очень его подмывало и самому совершить воздушное это путешествие и покупаться в подземной «болотине». Николай не без труда от этого отговорил его.

Первобытность здешнего быта пленяла собою все еще юного Пушкина. Он мог вести с пожилыми людьми дельную беседу о войне и политике, горячо и самозабвенно спорить о литературе, и в то же время в нем был жив еще мальчик, с наслаждением пивший воду источника из берестового ковша или разбитой бутылки; и то, как при этом свежо пахла кора или блестело на солнце стекло, – все эти милые пустяки радовали его и веселили.

Да, хорошо было и на людях, к которым привык, которых и уважал, но вольное, полное наслаждение было, когда в сотоварищи брал он себе только простор – горы и лес, уединенный источник. Слишком многое в ту пору томило его, а разрешение не давалось. И, вопреки самому себе, всему своему складу, характеру, живому, общительному, часто искал он уединения.

Птицы в лесах ни о чем его не вопрошали; кустарник шу-

мел сам по себе; воды лились непрестанно журчащей мелодией, не заботясь о слушателе.

Еще раз отсюда, издалека, обозревал он свою недавнюю петербургскую жизнь, работу над первой большой поэмой, так высоко оцененной Жуковским; удачи и увлечения; сплетни и клевету; грозившую ему кару и помощь друзей. Все это он помянул, наконец, в небольшом лирическом эпилоге к своему «Руслану»: был такой час на его новом Парнасе – как он прозвал любимую свою гору Бештау, – когда это все отстоялось и запросилось в стихи, а вскоре затем непроизвольно легло и на бумагу.

«Увидим, какой эпилог напишет он к своей поэме», – писал Карамзин князю Вяземскому вскоре после отъезда Пушкина из Петербурга. Этого эпилога, который он обещал, ждал не один Карамзин… Старшим друзьям поэта, вероятно, казалось, что если не покаяние, то хотя бы слова благодарности за оказанную ему свыше снисходительность должны бы там быть. Так Пушкин об этом догадывался, и он действительно в теплых словах вспомнил друзей, но… одних только их.

Больше того, как бы определенно намекая на свое обещание не писать некоторое время противу правительства, он не скрывал, а даже скорее подчеркивал, что

Душа, как прежде, каждый час
Полна томительною думой —

Но огнь поэзии угас.

…Так-то, друзья мои, не думайте, что я изменился, нет, я по-прежнему верен себе, и все осталось, как прежде, дума все та же – одна… Но я верен и данному слову – молчу, не пишу: об этом нельзя, так о чем же писать?

Так эти два главных вопроса: о чем же писать, а ежели не писать, так что, собственно, делать? – не покидали его и на Кавказе, здесь они даже, можно сказать, обострились. Кавказ его покорял своею дикою прелестью, но… так он сам написал:

Питаюсь чувствами *немыми*…

Генерала Раевского ждал в Горячеводске старший сын его, Александр, полковник в отставке. Николай был чуть помоложе Пушкина, Александр – постарше.

Но не одна только разница в возрасте разнила их. С виду они были похожи – оба высоки и статны. Пушкин меж них казался мальчиком-подростком. Оба хранили черты одной и той же породы; оба носили очки; оба были умны и образованны, и, наконец, оба – военные люди. Но столь были разны они, что между собою почти что им не о чем было и разговаривать, и надо было быть Пушкиным, чтобы в качестве третьего собеседника хватало его на них на обоих…

Странно, девочки на Горячих водах как-то от Пушкина, да и от Николая, отдалились заметно, точно присутствие

старшего брата откинуло их снова в детскую. Мария, должно быть, про себя ощущала это не без некоторой горечи, вспоминая милые дни путешествия по южным степям. Но она была очень горда и ни единым движением обиды своей не обнаруживала.

Мисс Мяттен скова вошла в полную силу, хотя и дивилась про себя дикости русских, живших здесь, на водах, с той простотой, которая недоступна была ее пониманию. Что же касается до Анны Ивановны, которую Пушкин предпочитал называть родным ее именем – Зара, то она держала себя немного загадочно, и он не раз ловил на себе пристальный взгляд ее темно-зеленых выразительных глаз. Но этому он не придавал никакого особого значения.

Весь его ум, когда он не бродил в одиночестве по диким кустарникам, был целиком прикован к Раевскому Александру. И тот, в свою очередь, уделял ему много внимания. Это внимание не было бескорыстным. Александр Николаевич, томившийся собою, любил ощущать и проверять свою силу влияния на других; он и был ею действительно одарен. Молодого поэта сразу он оценил, как оценил бы опытный дрессировщик живого и своенравного, попавшего в его руки зверька. Подобное сравнение могло бы прийти в голову и самому Александру Раевскому – таков был характер и таковы были взгляды на вещи у этого жестокого человека.

Он импонировал Пушкину и завоевывал его очень простыми поначалу приемами. Суховатый, надменный и резкий,

скупой на слова, между знакомыми и незнакомыми ходивший как человек особой породы, который лишь изредка позволяет себе снизойти к другим, – с Пушкиным он стал сразу на короткую ногу. И он вел с ним беседы – серьезные, почти доверительные, одновременно желчно и колко подсмеиваясь над всеми другими.

Пушкин никак не подозревал здесь игры. Он и сам был не прочь посмеяться над тем, что действительно было смешно (а такового было немало среди разношерстной и пестрой толпы, съехавшейся на воды), и не мог не ценить тонкого и умного разговора своего собеседника. Но когда, почуяв свою зарождавшуюся и все укреплявшуюся власть, Раевский пробовал анатомировать чувства и мысли своего младшего друга, все разлагая и все отрицая, Пушкин настораживался и частенько убегал от него к Николаю.

У Александра Раевского было изжелта-темное, в ранних морщинах лицо и широко разрезанный рот, губы часто слагались в привычную язвительную усмешку, казавшуюся столь же неотступной, как и пристальный гипнотизирующий взгляд его ореховых, широко расставленных глаз, по-кошачьи ласково-хищных; и у него был огромный выпуклый лоб, над которым торчали коротко остриженные волосы. Все это производило столь сильное впечатление на собеседника, что у того даже стеснялось порою дыхание, и оттого с таким почти физическим наслаждением Пушкин после глядел на ровный здоровый загар на щеках Николая, на

его полные, как бы несколько припухлые губы, хранившие в своих очертаниях, вопреки его огромному росту и силе, что-то еще совершенно ребяческое; и так милы были ему эти глаза, где непрестанно светилась задумчивость, отражение ищущей мысли.

Вот с кем он мог и болтать обо всем, что приходило на ум, и делиться мечтами и мыслями! Да, и мечтами… Эта открытость и это доверие – обоюдные – были такими же ясными, как самое небо над головою, и такими же свежими, как ветер в долине. Никогда не случалось, чтобы разговор с Николаем его утомлял. Бывало, конечно, что и они вступали в горячий спор между собою, но никакого насилия, давления, порабощения.

Пушкин особенно любил, уединившись куда-нибудь под вечер, а то и ночью, лежа с Николаем бок о бок, слушать, как он простодушно рассказывал про семью, про сестер.

– Я написал нынче маме. Очень боюсь я за Катеньку. У нас ведь Елена грудью слаба, а тут и Катерину врачи направляли в Италию. Но отец – патриот и говорит, что и Крым не хуже Италии. Вообще он у нас великий медик и всех любит лечить сам.

– Да он и за мною приглядывает. Рудыковского не раз поправлял.

– А ты знаешь, как он лечил своего двоюродного брата Григория Самойлова? Это было во время турецкой кампании, так в перерывах между сражениями он заставлял его

пить стаканами ослиное молоко; это будто бы очень грудь укрепляет!

– И что же, тот выздоровел?

– Да нет, он довольно скоро после того скончался… правда, от ран. Но отец очень сердится и говорит: «А не убили б, так был бы здоров!»

Пушкин, шутя, размышлял:

– Может быть, это и от лихорадки поможет? Не начать ли мне пить?

– А что же, попробуй! Он и Катеньку, кажется, собирается этой прелестью пользовать. Но только она ведь упрямая: офицеру еще, говорит, может быть, можно, да и то удивительно, как он согласился, а фрейлине при дворе государыни это совсем неприлично!

Так они часто смеялись и балагурили; и Пушкин так отдыхал от Александра.

Но тот каждый раз замечал это бегство к младшему брату, хотя никогда и не показывал виду, как это его раздражает. Он становился лишь несколько сдержанней с тем и с другим, думая, что довольно и этого. Но, когда это не помогало, он прибегал к своему испытанному приему. Как бы ничего вовсе и не было, он брал Пушкина под руку и куда-нибудь уводил, чаще всего на берег Подкумка, и как он умел говорить в эти часы, обычно передвечерние, и позже, под звездами!

Каждый раз неизменно он начинал с какого-либо интимного признания, – которое, конечно, можно сделать только

самому близкому другу, – как если бы ходил с этими мыслями уже несколько дней… Доверить их некому, кроме как только и единственно Пушкину: кто еще может это понять и оценить самую откровенность!

Они быстро сошлись на «ты».

– Ты знаешь Орлова?

Пушкин знал его еще по Петербургу.

– А знаешь ли, что он собирался организовать тайный союз – общество Русских рыцарей? Это должны были быть самые честные люди, которые искоренили бы лихоимство и незаконные притеснения.

– Я знаю, что в «Арзамасе» он предлагал с теми же целями завести журнал свободных идей.

Раевский подозревал много больше, но Пушкина он интриговал, делая вид, что доверяет ему последние тайны.

– У Михаила Федоровича, – говорил он, – язык очень острый и точный. Он называет государство наше «устроенным неустройством», а сам был бы рад «жизни бурливой за родную страну». Вот государь его к моему отцу под крылышко в Киев и отослал – начальником штаба.

– И как же они уживаются?

– А преотлично. Отец ведь, в общем, очень уживчив – со всеми, кроме меня. Меня он не любит.

– Но ведь и сам ты держишься от него далеко.

– Так что ж? Он сам по себе, я сам по себе. А впрочем, я про Орлова. Ты знаешь, я с ним в переписке, кое-что помню

и наизусть. Да и ты запомнишь: веяние времени! Вот письмецо от прошлого года…

И Раевский тотчас процитировал, несколько приподнято декламируя: «Золотые дни моей молодости уходят, и я с сожалением вижу, как пыл моей души часто истощается в напрасных усилиях. Однако не заключайте отсюда, что мужество покидает меня. *Одно событие* – и все изменится вокруг меня. Дунет ветер, и ладья вновь поплывет. Кому из нас ведомо, что может случиться. На все готовый, я понесу в уединение или на арену деятельности чистый характер – преимущество, которым немногие могут гордиться в нынешний век».

– А вот и недавно совсем… Письмо это со мною, и кому бы другому я мог о нем сообщить? Он пишет, что в Риме открыт будто бы заговор и тридцать пять тысяч австрийцев идут на усмирение восстания, которое вот-вот может вспыхнуть… «Везде огонь живет под пеплом, и я очень думаю (это он пишет)… я очень думаю, что девятнадцатый век не пробежит до четверти без развития каких-нибудь странных происшествий…»

Девятнадцатый век! Пушкину живо вспомнилась одна из любимых семейных легенд, как в Новый год – 1801-й – собрались у Сергея Львовича гости и вели оживленные беседы на тему, каков-то будет новый, девятнадцатый век, только что наступивший, и что он с собой принесет – какие изобретения и государственные перемены; вспоминали знамени-

тых людей века, странно было сказать – века минувшего… И вот будто бы в самый разгар этой беседы маленький Саша, разбуженный доносившимся шумом – звоном бокалов и возгласами, – никем не замеченный, в одной рубашонке, не так давно и ходить-то начавший, переступил через порог и остановился, ослепленный непривычным светом многих свечей. Кто-то увидел его, все обернулись, а Надежда Осиповна, тогда еще молодая красавица, была и сконфужена, и восхищена, и в душе рассердилась на няню, как это та не углядела… Она вскочила с кресла и подбежала к отважному путешественнику, но вместо того, чтобы схватить его на руки, она внезапно присела сама и взяла его за крохотную ручку.

– Вот кто переступил через порог нового столетия! Вот кто в нем будет жить! – воскликнула она со внезапным порывом.

«И как она была хороша в эту минуту!» – каждый раз, вспоминая об этом памятном происшествии, добавлял от себя Сергей Львович, отводя взрослого уже теперь Александра из центра рассказа. Но Пушкин сам так хорошо помнил этот рассказ – *о себе*. Помнил и часто задумывался…

Так и сейчас он повторил за Раевским или, верней, за Орловым:

– Да, девятнадцатый век не пробежит без происшествий. Сколько осталось до четверти? Всего-то пять лет… – И тут были думы опять о себе…

Но Александр Николаевич, овладев и вниманием, и от-

крытостью Пушкина, тут-то и начинал уже от себя и свое. Он ставил вопросы с такой жестокою ясностью и так беспощадно и горько тут же их разрешал, что возражать ему, спорить было почти невозможно. Однако ему и этого было мало, он вызывал Пушкина на спор, чтобы в самом молчании собеседника не затаилось чего-либо противного и независимого.

И постепенно, под завораживающие звуки мутной воды, бежавшей у их ног, Пушкин опять поддавался этим коварным речам, бледнел, и холодная горечь шевелилась у сердца. Любовь, свободолюбие, народ – все это одно за другим тускнело в душе, подобно тому, как сгущались вокруг дымные сумерки, погашая все краски цветного, яркого дня. Для этого демона в образе человека, казалось, ничего уже не было святого, ничего заветного, и он полностью наслаждался сознанием своей власти, могущества над другою душой, богатой кипучею, буйною молодостью, живою в глубине творческого ее бытия. Здесь надрезать, там хрустнет – и вот разломил, слагая отдельные полумертвые части по собственному образу и подобию.

И нервы у Пушкина, с его обостренной чувствительностью, то напрягались, то спадали, и для него состояние это порой походило на длящийся болезненный полуобморок. Александр Николаевич чувствовал это и почти не скрывал, что кроме сознания власти есть для него и еще одно наслаждение – тою видимой болью, которую он причинял. Это было подлинно мефистофельское отношение… Где-то Пушки-

на в глубине оно еще и обогащало новым познанием человеческого сердца. Но этот свой жизненный опыт пока он еще не полностью осознавал, и оттого глухое томление рождалось в душе.

Наутро Николай, заметив осунувшееся лицо друга, спрашивал, недоумевая:

– Что это с тобой? За ночь ты похудел.

– Поздно сидел у Подкумка.

– Так что ж?

– Там испарения, знаешь ли, нехороши… С Александром сидели.

Так позволял он себе отвести душу и подерзить по отношению к своему тезке, уж чересчур на него наседавшему.

Александр Николаевич любил поговорить и о поэзии. Он был чужд ее духа, но тонко и едко умел посмеяться над какою-нибудь одною строкой, выхваченной из общего текста. Пушкин это ценил и умел соглашаться, хотя бы то была и его собственная строка. Но Раевский на этом не останавливался. Разрушая, быть может, действительно хрупкую форму, он попутно мельчил и высмеивал и самую мысль, искавшую своего утверждения.

Ломался ли Пушкин под напором Раевского? Подпадал ли под чужую власть? Изменял ли себе? Александр Николаевич был в жизни его едва ль не единственным человеком, из борьбы с которым он выходил порою хромым. Но эта же самая борьба и крепила его. Он, как молодое деревцо под бу-

рею, то пригибался, то выпрямлялся, а каждая рана покрывалась рубцом, оставляя для времени, чтобы оно и этот рубец в конце концов рассосало. И действительно, Пушкин заметно мужал, но не по типу Раевского, а на свой собственный лад. И, как это в жизни постоянно бывает, что-то происходило не только с одним человеком, но и с другим. Порою бывало даже и так, что Раевский готов был вот-вот отдаться всецело обаянию молодого поэта, и в душе его пробуждались живые движения истинной дружбы. Пусть очень редко, но все же случалось, что внезапно он брал своею большой похолодевшей рукой небольшую горячую руку Пушкина и сжимал ее в искреннем минутном порыве. И до Пушкина это немое признание доходило без слов.

Можно даже сказать, что когда по истечении месяца Пушкин перебрался вместе с Раевскими на Железные воды и один только Александр Николаевич задержался на Горячих водах, заканчивая свое лечение, то как раз и тосковал по-настоящему в этой разлуке Раевский, и не хватало ему не только жестокого своего развлечения, но и чего-то другого, гораздо более человеческого. У Пушкина было все – целый мир, в себе и вовне, Александр же Раевский, оставшись один, был предоставлен единственно самому себе, а это, как он с горечью сам про себя сознавал, было очень похоже на пустынную долину, выжженную солнцем.

Такова была эта борьба двух людей: так рождалась и их странная – не на один год – крепкая и сложная дружба.

Пушкин, конечно, не тосковал. Ему недоставало Александра Николаевича, но в то же самое время овладевала им и какая-то легкость, чувство освобождения. С новою силой природа, здесь еще более дикая, опьяняла его в далеких прогулках. Здоровье теперь сильно окрепло, и потребность в движении возросла.

На Железную гору еще вовсе недавно не отправлялись иначе как под охраною казачьего отряда. В густом, непроходимом лесу еще и теперь можно было встретить затаившихся горцев. По крайней мере такие ходили рассказы. Но Пушкина это, пожалуй, только еще больше взманивало.

– Смотрите, вас схватят, перевяжут веревкой и увезут в далекие горы, – говорила Мария, посмеиваясь, а немного и взаправду тревожась; здесь, на Железной горе, они заново стали дружить.

– Ну и что же! Во-первых, без боя я не намерен сдаваться, а ежели и возьмут, я напишу там поэму.

– О чем?

– Как я там по вас тосковал!

Смуглое лицо Марии краснело, но, преодолевая смущение, все ж рисковала она и подразнить:

– Воображаю! Тотчас же, наверное, увлечетесь какой-нибудь хорошенькой черкешенкой!

И она убегала, оставив «насмешника» в минутной задумчивости… О чем?

Лес на Железной горе – дубы и ольха, вязы и клены,

конский каштан, каждое дерево красавец по-своему, – полон был птичьими голосами: треньканьем, щелканьем, свистом; друг перед другом старались дрозды и щеглы, розовые скворцы и красногрудые снегири; пестрые дятлы по-хозяйски долбили носами, и в особицу по-разбойничьи каркали красивые галки с красными клювами.

А пониже, в траве-мураве и во мху, скакали, пилили на скрипочках нарядные, блестящие кузнечики, похожие на солистов во фраке.

Пушкину доводилось встречать и лисиц с огненно-рыжим хвостом, мелькавшим, как факел язычника, между деревьев в овраге; белки скакали по веткам, и зайцы шныряли в кустах совсем по-домашнему; удивленный хомяк с белыми лапами и черной полосою на лбу поглядит, остановится и вдруг кинет вбок и как-то назад свое внезапно взъерошившееся тело… Пушкин дивился особенно обилию диких котов с круглою, как бы обритою мордой и огромными мохнатыми лапами: они пригибались к земле, готовые вот-вот скакнуть, и желтые злые глаза их, казалось, рассчитывали математически точный прыжок. Он минуту выдерживал этот их взгляд и вдруг, длинно выбросив руки, хлопал перед собою в ладоши и устремлялся, согнувшись, на хищника, и нельзя было понять, как и куда мгновенно тот исчезал.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.